

A man with grey hair, wearing a full-body silver heat-reflective protective suit, stands in a dark, volcanic landscape. In the background, a volcano is visible with glowing red lava flows and smoke rising from the ground. The sky is overcast and grey.

**КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ,
А БОГ
ПРОТИВ
ВСЕХ**

МЕМУАРЫ

**ВЕРНЕР
ХЕРЦОГ**

18+

Вернер Херцог
Каждый за себя, а Бог
против всех. Мемуары
Серия «Individuum. Внесерийное»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69448597

*Каждый за себя, а Бог против всех. Мемуары: Индивидуум; Москва;
2023*

ISBN 978-5-6048295-6-1

Аннотация

Вернер Херцог – знаменитый немецкий режиссер, снимавший кино на всех шести континентах, путешественник, автор дневников, поэт и яркий независимый мыслитель. Его биографии хватило бы на семерых – в книге воспоминаний он рассказывает о первых озарениях, приключениях вокруг света, об укрощении неистового Клауса Кински, экстатической правде и трудном пути к творческой автономии. Херцог спускался в пещеры, снимал под антарктическим льдом, отправлялся в пустыни и на высокогорные ледники. «Каждый за себя, а Бог против всех» – книга, в которой автор путешествует во времени из послевоенного детства к нашим дням, заглядывая как в доисторическую эпоху, так и в весьма отдаленное будущее.

В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

Содержание

Предисловие	5
1. Звезды, море	8
2. Эль-Аламейн	11
3. Мифические герои	32
4. Летать	48
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Вернер Херцог

Каждый за себя, а Бог против всех. Мемуары

Cover photograph by Clive Oppenheimer

© 2022 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München,

2022

© Ольга Асписова, Елизавета Соколова, перевод, 2023

© ООО «Индивидуум Принт», 2023

* * *

*Энкиду вздохнул горько и речь держал:
«Гильгамеш, сторож в лесу не смыкает глаз».
Гильгамеш отвечал: «Где же тот человек,
Что сможет взобраться на небо?»*

Предисловие

Мой фильм «Агирре, гнев божий» по первоначальному плану должен был закончиться так: когда плот испанских завоевателей достигает устья Амазонки, он завален мертвцами, выжил только говорящий попугай. В Атлантике плот снова попадает в сильное течение, и попугай начинает без остановки верещать: «Эльдорадо, Эльдорадо!» Только на съемках я изобрел гораздо более красивое решение: плот заполнили сотни крохотных мартышек, и Агирре что-то им проповедует о своей новой всемирной империи. Совсем недавно я натолкнулся на описание конца Агирре – исторически не подтвержденное, при том, что сам этот персонаж доподлинно существовал. Всеми покинутый, убивший собственную дочь, чтобы ей не пришлось видеть его позор, он приказал последнему соратнику, сохранившему верность, его расстрелять. Тот вскинул мушкет и выстрелил ему прямо в грудь. «Меня что, комарик покусал?» – воскликнул Агирре. И велел зарядить ружье снова. На этот раз верный соратник угодил ему в сердце. «Должно хватить», – проговорил Агирре и упал замертво.

Я нисколько не сомневаюсь, что концовка фильма с обезьянами – самая красивая из всех возможных, но меня занимает вопрос, какие альтернативы были у меня самого, сколько было неиспробованных вариантов, не только в придуман-

ных историях, но и в самой жизни, – вариантов, так и не воплотившихся в жизнь или реализовавшихся лишь многие годы спустя.

Заглавие этой книги я уже использовал однажды – для фильма о Каспаре Хаузере, – правда, мало кто его тогда правильно воспринял. Попытаюсь снова. Может быть, такое название слишком уж выпячивает мою роль бойца-одиночки. В действительности вокруг меня всегда были люди – сотрудники, семья, женщины. И о них, за редкими исключениями, в этой книге не будет сказано ни слова. Все как один они были независимыми, сильными личностями, красивыми и умными людьми. И без них я был бы лишь тенью самого себя.

Однако сейчас меня занимает вопрос: куда человека (например, меня) может забросить судьба? Откуда в жизни берутся всё новые повороты? Многое, как я вижу, остается неизменным до конца – особое видение, никогда не покидавшее меня, а кроме того, чувство долга, преданность, смелость, как у хорошего солдата. Мне всегда хотелось удерживать аванпосты, поспешно покинутые другими. Сколько можно было знать наперед? Благодаря японскому солдату Хироо Оноде, сдавшемуся в плен только через двадцать девять лет после окончания Второй мировой, я узнал, что в вечернем свете можно увидеть яркий след от выпущенной в вас пули – как если бы она была трассирующей. Значит, можно заглянуть в будущее – хотя бы на один миг.

И вот я пишу эту книгу. Поднимаю глаза, потому что за-

метил, как за окном что-то вспыхнуло и несется прямо на меня, отливая медью и яркой зеленью. Но это не шальная пуля – это всего лишь колибри. И в этот момент я решаю прекратить, не писать дальше. Последняя фраза книги обрывается там, где я остановился сейчас.

1. Звезды, море

Около полудня женский плач прекратился. Некоторые кричали и рвали на себе волосы. Когда они разошлись, я пошел туда, к небольшому каменному зданию возле кладбища в деревне Хора-Сфакион на южном побережье Крита – если считать деревней горстку домов, разбросанных по крутым скалам. Мне было шестнадцать. В крошечном помещении для прощания не было двери. В полумраке комнаты я увидел двоих покойников: они лежали так близко, что даже соприкасались. Это были мужчины. Позже я узнал, что в ту ночь они убили друг друга; в этом отрезанном от мира, совершенно архаическом регионе по-прежнему действовал закон кровной мести. Я помню только лицо мертвеца справа. Оно было сизое, как цвет сирени, и уходило в желтизну. Из ноздрей у него торчали два раздувшихся комка ваты, пропитанные запекшейся кровью. Выстрел из дробовика угодил ему в грудь.

С наступлением ночи я вышел в море. Тогда я несколько ночей подряд подрабатывал на рыболовецком суденышке; скорее всего, это было за несколько дней до новолуния, поскольку луны было не видать. Бот вывез в море шесть лодчонок, которые здесь зовутся *lampades*, и каждой из них правил только один человек. Там нас, растянув примерно на километр, расцепили и оставили поодиночке. Море было глад-

кое, как стекло, никакой ряби, вода будто масло. И оглушительная тишина. На каждой лодке была большая карбидная лампа, чтобы освещать толщу воды. Свет привлекал рыбу, а особенно – каракатиц. Ловили их своеобразно. На конце лески был закреплен кусок светлой вошеной бумаги, размером и формой напоминавший сигарету. Это привлекало кальмаров, они хватали предполагаемую добычу своими присосками. Чтобы крепче зацепить кальмара, к концу светящейся приманки был прикреплен венчик из проволочных щетинок. И нужно было очень точно чувствовать, на какую глубину погружается приманка, потому что в момент, когда кальмар оказывался над поверхностью воды, он отпускал добычу и падал обратно в море. Поэтому последний отрезок лески нужно было тянуть рывком, чтобы кальмар одним махом перелетел через борт и шлепнулся на дно лодки.

Первые часы ночи прошли в неподвижном ожидании, пока в какой-то момент лампа, эта искусственная луна, не сработала. Надо мной был купол Вселенной, звезды – хоть руками хватай, и весь мир мягко качал меня в колыбели бесконечности. А подо мной в ярком свете карбидной лампы мерцали глубины океана, и небосвод словно сливался с ними в единый шар. Вместо звезд в глубине повсюду вспыхивали серебром мелкие рыбешки. И, оказавшись объят не постижимой Вселенной, где от каждого звука захватывает дух, – сверху, снизу, со всех сторон, – я испытал тогда неизъяснимое изумление. Я точно знал в тот момент, что здесь и сей-

час мне стало ведомо все. Моя судьба была мне совершенно ясна. Я точно знал, что после той ночи мне едва ли грозит старость. Был совершенно уверен, что не доживу и до восемнадцати: ведь тому, кто озарен светом такой благодати, жить в обычном времени уже не дано.

2. Эль-Аламейн

Какое-то время назад в старых бумагах я нашел написанную карандашом открытку от мамы с почтовым штампом 6 сентября 1942 года. На открытке марка с портретом Адольфа Гитлера – к тому моменту уже начали их выпускать. На штампе легко прочитать: *Мюнхен, столица движения*. Открытка адресована *проф. д-ру Р. Херцогу и его семейству в Гросхесселоз¹, под Мюнхеном* – то есть моему деду Рудольфу Херцогу, патриарху семьи. Очевидно, моего папу мать не стала письменно извещать.

«Дорогой отец, – пишет она моему деду, – сообщаю, что прошлым вечером я родила сына. Он будет носить имя Вернер. С наилучшими пожеланиями, Лизель». Имя Вернер она выбрала в пику своему мужу, который намеревался назвать меня Эберхардом. Однако к моменту моего рождения отец был солдатом во Франции, причем вовсе не на линии фронта, – именно потому, что знал, как этого избежать; он служил в тылу, там, где распределялись припасы, в первую очередь продукты питания. А зачал он меня во время увольнительной, вскоре после Нового года. Позднее мама узнала, что первую половину того отпуска, в действительности начавшегося десятью днями ранее, чем он у нее объявился, отец про-

¹ Престижный район Мюнхена с большим лесопарком. – *Здесь и далее прим. ред.*

вел у любовницы.

Я родился накануне решающего перелома во Второй мировой. На востоке германский вермахт предпринял попытку взять Сталинград, что в течение нескольких месяцев привело к катастрофическому поражению Германии, а в Северной Африке генерал Роммель решил продвинуться к Эль-Аламейну, что вскоре обернулось аналогичным поражением так называемого Тысячелетнего рейха, но уже на юге. И когда двадцать три года спустя мне однажды пришлось сломя голову выбираться из США (тогда я нарушил визовые правила и мог быть депортирован в Германию), я бежал в Мексику, где, чтобы выжить, мне нужно было как-то зарабатывать деньги. Я работал на *charriadas*, мексиканском родео: исполняя роль клоуна на арене, скакал верхом на молодых быках, хотя прежде никогда не садился даже на лошадь. И выступал я тогда под сценическим псевдонимом Эль-Аламейн, потому что никто все равно не мог правильно произнести мое имя и для простоты все называли меня *Эль-Алеман*, то есть «немец». Но я настоял на прозвище *Эль-Аламейн*, потому что на каждом представлении меня на потеху публике подвергали изрядной трепке, словно бы в память о поражении Германии в пустынях Северной Африки. И каждую субботу, глядя на меня, можно было любоваться этим поражением вновь и вновь – а вернее, тумачами и травмами, которые я то и дело притягивал к себе...

Всего через две недели после моего рождения *столица*

движения, Мюнхен, подверглась одному из первых воздушных налетов. Моя мать обитала тогда в маленькой мансардной студии на Элизабетштрассе, 3, в центре города. Тринадцать лет спустя мы въехали в пансион в том же доме, этажом ниже: там-то я впервые и узрел буйного Клауса Кински во время его фирменного приступа ярости. Но в 1942 году, задолго до того, как включилась моя память, многие дома поблизости были сровнены с землей, да и тот дом, в котором я только-только начинал жить, здорово пострадал. Однажды мама нашла меня в кроватке под толстым слоем битого стекла, кирпичей и щебня. Я остался цел и невредим, но она тогда в ужасе спешно покинула город, схватив в охапку нас с братом Тильбертом, и устремилась в Захранг – самый отдаленный уголок Баварии, узкую горную долину на границе с Австрией. Там я и вырос. Моя мама знала несколько человек оттуда и через них нашла нам жилье на хуторе Бергерхоф за деревней – не на самой ферме, а в крошечном строении рядом, в так называемом «стариковском наделе», куда, по баварскому обычаю, отселяется пожилая крестьянская пара после того, как передаст ферму старшему сыну. Мы жили в подвале, а над нами расквартировалась семья беженцев из Хамельна, что на севере Германии.

О моем отце и его предках я еще расскажу. А сейчас начну с семьи моей матери – Стипетичей. Родом они были из Хорватии, изначально – из далматинского Сплита, правда, позднее переселились в Загреб, еще в те времена, когда он

назывался Аграм. В XIX веке мои предки занимали там высокие административные и военные должности, а дед, которого я, правда, не знал, потому что он умер, когда матери едва исполнилось восемнадцать, был даже майором генштаба при Габсбургах. Если верить ее рассказам, он был склонен к странным шуткам, доходившим до сюрреализма, абсурда. Два года он провел в Ускюбе, нынешнем Скопье, и все это время носил только одну перчатку. Позднее, уже в Вене, в кафе, он как-то снял офицерские перчатки и, ко всеобщему удивлению, показал официанту две совершенно разные кисти рук – одну сильно загорелую, другую белоснежную. Словно бы из какого-то бунтарского чувства он, бывало, в парадной форме играл в стеклянные шарики с уличными мальчишками и вообще то и дело совершал неуместные для военного поступки. Хорватская ветвь моей семьи была настроена националистически и желала, чтобы Хорватия обрела независимость от сдвоенной Австро-Венгерской монархии. Подобные устремления позднее вылились в фашизм. При поддержке Гитлера власть в Хорватии на три года захватил диктатор («поглавник»), и весь этот кошмар прекратился лишь с окончанием войны.

Бабушка происходила из венского буржуазного семейства, с которым у матери никогда не было близких отношений, потому что она за всю жизнь так и не научилась тепло относиться к буржуазии. Бабушку я знал лишь по нескольким ее к нам визитам и теперь отчетливо помню лишь то, как

мы с матерью навещали ее в доме престарелых совсем незадолго до ее смерти. Она казалась растерянной и попросила тогда меня налить ей стакан воды, что я и сделал – прямо из-под крана. «Настоящее лакомство», – повторяла она, отпивая воду маленькими глотками, и беспрерывно благодарила меня за небывалый деликатес.

Лотте, младшая мамина сестра, была похожа на эту австрийскую бабушку и тоже не была особенно близка с моей матерью. У этой очень отзывчивой женщины было двое детей, сын и дочь. Ее сын, мой двоюродный брат, – старше меня на несколько лет, причем я с ним неплохо ладил, – сыграл важную роль в драматическом эпизоде моей жизни, когда я двадцати трех лет от роду вернулся в Германию из первой поездки в США. Пока я путешествовал, моя первая большая любовь оставалась дома – правда, к тому времени наши с ней отношения уже сильно осложнились: я в эти годы стремительно развивался, но это не встречало понимания у моей подруги. Мы познакомились, когда я в ночную смену работал сварщиком на небольшой фабрике металлических изделий, принадлежавшей ее родителям. А начал я там работать еще в школьные годы, поскольку нуждался в деньгах для производства своих первых фильмов. Скорее всего, из-за неуверенности в нашем общем будущем или из-за того, что, уезжая, я не сделал ей предложения, она и вышла замуж за моего кузена, пока я был в Америке, но ничего мне об этом не сообщила. Когда я вернулся, у них как раз за-

кончился медовый месяц, но она на несколько дней сбежала из дома со мной, хотя ни она, ни я не чувствовали в себе сил в корне изменить ситуацию. Она не хотела сразу же возвращаться от меня к мужу, моему кузену, и я проводил ее к родителям, которые поджидали меня вместе с четверью ее братьями. Может статься, братьев было трое, а моя память просто преувеличивает их число до убедительного перевеса. Я не хотел бросать любимую под родительской дверью и был готов предстать перед ними. Братья, мускулистые баварские грубияны, все как один игравшие в хоккей, грозились убить меня, как только увидят. Надо сказать, подобные угрозы высказывали и родители. Но я не испугался и вошел к ним в дом. С кузенком у меня накануне состоялась довольно странная встреча: мы делили возлюбленную, разрывавшуюся между двумя мужчинами. Я и по сей день уверен, что драки не было, мы не прикоснулись друг к другу, но почему-то потом у меня надолго распухла скула, словно от сильного удара. В следующий раз мы с этим кузенком коротко встретились уже четыре десятилетия спустя, на вечеринке по случаю дня рождения кого-то из родственников, но так и не сделали шаг навстречу друг другу, хотя оба того хотели.

Эта моя доамериканская возлюбленная впоследствии притягивала к себе несчастья, словно на нее кто-то навел порчу. От моего кузена она родила двоих детей, но брак распался. Другие связи с мужчинами также заканчивались плохо. В конце концов она бросилась с моста Гросхесселозэ и

разбилась насмерть. А на старых фотографиях мы с ней так беззаботны и легки, и ничто не предвещает грядущих бед. Меня до сих пор тяготит, что я ведь и в самом деле будто предал ее: уехал в Америку, так и не набравшись смелости совершить честный поступок. Женщины в моей жизни нередко связаны с драматическими историями – наверное, потому, что между нами всегда были глубокие чувства. Но я так и не постиг до конца тайнства любви и ее терзания. В то же время у меня почти никогда не бывало поверхностных отношений. Демон любви лихо меня погонял, но без женщин моя жизнь – ничто. Иногда я представляю себе мир, в котором нет женщин, одни мужчины. Такой мир был бы невыносим, убог, и его кидало бы из стороны в сторону от одной пустоты к другой. Но мне очень везло с женщинами – вероятно, больше, чем я заслуживал.

По отцовской линии мои предки принадлежали к ученой среде. Родом они вообще-то были из Швабии, хотя одну ветвь рода образуют гугеноты с фамилией де Нёфвилль – вероятно, в конце XVII века они бежали от религиозных преследований из Франции во Франкфурт как протестанты. Дальнейшими разветвлениями собственного генеалогического древа я никогда особо не интересовался, но помню, как отец проводил изыскания, согласно которым мы будто бы были связаны родственными узами с математиком Гауссом и другими историческими личностями вплоть до Карла Великого – хотя, сдается мне, с точки зрения статисти-

ки таким родством может похвастаться большинство немцев и французов. В действительности же отец мой, скорее всего, стремился придать нам фамильный вес, которого у нас не было. Один из моих единокровных братьев – его зовут Ортвин, и я его едва знаю – мотался по миру, составляя полуполицейскую адресную книгу какой-то отрасли, однако отец обозначил его на нашем генеалогическом древе странствующим исследователем, как если бы в мир явился новый Александр фон Гумбольдт². Старшего из двух братьев, Маркварта, я знаю несколько лучше – хотя вообще-то оба они получили шрамы на всю жизнь, потому что в отличие от меня имели несчастье расти рядом с отцом. Так вот, Маркварт единственный из всех моих единокровных сестер и братьев получил высшее образование: он изучал католическое богословие и написал диссертацию о религиозно-философских интерпретациях сошествия Христа во ад.

Элла, моя бабушка по отцовской линии, высокая, статная женщина, которая благодаря силе характера постепенно все заметнее принимала на себя роль главы семейного клана, позволила мне углубиться в историю семьи, или, может быть, лучше сказать – подсмотреть в скважину; я смог заглянуть в глубины судеб всего лишь двух ее членов: самой бабушки Эллы и ее бабушки, то есть моей прапрабабушки. Впро-

² Александр фон Гумбольдт (1769–1859) – знаменитый немецкий путешественник и ученый-универсал, один из основателей современной науки о природе, оставил сочинения по ботанике, географии, зоологии, климатологии и геологии. В 1829 году побывал в России, объехав ее от Петербурга до Барнаула.

чем, это единственное погружение в толщу собственной генеалогии всегда меня занимало. Элла оставила воспоминания: «Моим детям и внукам», а внизу приписала: «Знаю-знаю, вам любопытно, и вы хотите узнать, как дедушка за-получил бабушку», и еще ниже: «Рождество 1891 года».

Первые воспоминания прапрабабушки относятся к 1829 году. Она выросла в Восточной Пруссии. *«Милая дочурка моя, – пишет она, бабушка моей бабушки, – когда я написала тебе летом об опыте и воспоминаниях о жизни на старой родине, ты ответила, что была бы рада, если бы я записала те несколько историй из детства, которые вам рассказывала. Мое первое осознанное воспоминание относится к третьему году жизни. Думаю, это был 1829 год. Вижу себя в нашей гостиной в замке Гильгенбург. Моя мама, лица которой я, правда, не помню, сидит на возвышении под окном – окна были расположены довольно высоко над землей, – на стуле за столиком для шитья, занимается рукоделием; я с трудом взбираюсь на ступеньку, затем на стул; стоя позади матери, принимаюсь по-детски руками укладывать и гладить ее волосы. Потом помню другой день – тоже как сегодня, и никогда не забуду: я в маминой спальне, позднее утро, она уже встала с постели, лежит на софе, а я играю с ней рядом; в комнате точно есть кто-то еще, потому что я слышу, как говорят: «Она потеряла сознание», и слышу, как зовут на помощь, чтобы ее поднять и отнести на кровать. Потом я слышу крик: «Жаровню, живо, надо согреть*

ей ступни!» Ступни ей терли и грели, но все напрасно, они так и не стали теплыми. Как я узнала потом, это был первый день, когда она встала с постели после рождения сына. Мой братик родился мертвым, и я помню, как меня позвали, чтобы его показать».

«В отцовские поместья, – пишет прапрабабушка о временах, когда ей было лет шесть или семь, – входили леса, где в те времена еще было много диких зверей. В обширных дубравах водились кабаны и немало волков. Случалось, когда мы ехали вечером по лесу и лошади вдруг замирали, мы, оглядевшись по сторонам, замечали в кустах пару зеленых глаз. Каждый год устраивалась большая охота на волков. Правительство назначало награду за каждого убитого зверя. Пока были волки, попадались, конечно, и волчата. Лесники, прочесывая лес, иногда находили их логова с детенышами. И когда вечером взрослые волки уходили за пропитанием, егеря забирали волчат, клали в мешок, приходили к нам и вытряхивали их у нас в комнате, где мы, дети, просто прыгали от удовольствия, играли с ними и дразнили их так, чтобы они завывали. В конце концов их убивали. Уши и когти прикреплялись к куску картона и вместе с письменным свидетельством отправлялись в муниципалитет, который выплачивал премию. Волки были наглые, случалось, заходили и в сад, утаскивали гуся или овцу у пастуха из стада. Мою козочку (к которой я была очень привязана) постигла такая же участь. В тот раз пастухам удалось с помощью

собаки криками отогнать волка, но горло у бедняжки было уже перегрызено. Поскольку летом лошадей и коров на ночь оставляли пастись на лужайке в саду, нужно было как-то защищать их от волков. И когда вечером их пригоняли домой с полей, каждое животное мазали специальным вонючим маслом – кажется, оно называлось “французское масло”, – и будто бы волки его на дух не переносили. Коровам натирали головы между рогами, потому что, защищаясь, они встают друг к другу задом и отбиваются рогами. Лошадям этим же жиром намазывали хвосты и крупы, потому что они отражают нападение волка копытами, а головы обращают друг к другу. Тем не менее я помню, как однажды утром привели домой лошадь с разодранным в клочья крупом и ее пришлось заколоть...»

Бергерхоф в Захранге стал для меня идиллией, полной своих опасностей, – такой же опасной идиллией, наверное, был и большой мир, который вызвал к жизни катастрофы и потрясения Второй мировой и привел в движение толпы беженцев. Тогда я еще не ходил в школу, но отлично помню, как мы со старшим братом Тилем пасли коров на ферме Лангов. Мы, дети, дружили с сыном фермера Эккартом, которого между собой звали только «Маслом» из-за того, что отец, жестоко его колотивший, вечно заставлял сына взбивать сливки до состояния масла. За этот выпас нам дали наши первые деньги – это были сушие гроши, но они укрепили в нас чувство самостоятельности. Не исключено, правда, что

мы что-то зарабатывали и раньше, когда примерно в том же возрасте на лошади породы хафлингер³ возили пиво и газировку вверх по склону горы Гайгельштайн. Слева к спине лошади крепился бурдюк с пивом, справа – с лимонадом, и мы почти бегом взбирались до самого Оберказера, альпийского пастбища над постоянным двором Принер-Хютте. Перепад высот с Захрангом составлял, наверное, метров восемьсот, а мы шли босиком, потому что летом вообще не носили обувь. Обувь была у нас только осенью и зимой – до конца апреля, а во все месяцы, в названиях которых нет буквы «р»: май, июнь, июль, август, – мы не носили ни обуви, ни кальсон под кожаными штанами. Теперь там в гору ведет дорога, а тогда мы бежали вверх по каменистой тропе и укладывались в час с четвертью. Сегодня туристам для подъема требуется почти четыре часа. В Оберказере жила семья альпийских сыроваров, в том числе молодая женщина по имени Мара. Она одна оставалась там круглый год, и поговаривали, что она, дескать, не хочет иметь ничего общего с долиной и ее людьми с тех пор, как однажды в кого-то влюбилась, а ее бросили. Ей был годик, когда отец посадил ее в рюкзак и понес на гору. С тех пор она и жила там, наверху, а в долину спускалась, наверное, лишь раз за шестьдесят лет со времен своей юности, да и то потому, что понадобилась ее подпись – думаю, для

³ Невысокая и выносливая порода лошадей, выведенная в горной деревне Хафлинг (современная автономная провинция Больцано – Южный Тироль, Италия).

того, чтобы она могла получать пенсию. Несколько лет назад, незадолго до ее смерти, я был там вместе со своим младшим сыном Саймоном и встретил ее снова. Ей было уже за девяносто, и выглядела она растрепанной и одичавшей, хотя я знаю, что о ней заботились. Почти каждый день ее проводывали молодые люди из горноспасательной службы, жившие в служебной избушке совсем рядом. Один из них время от времени расчесывал ее, и ей нравилось, что сильный молодой человек приводит в порядок ее волосы. Она переживала там лето и зиму, дождь и бурю. Незадолго до моего визита старая хижина сыроваров оказалась погребена под огромной лавиной, и спасателям пришлось вырыть вертикальный колодец в снегу глубиной в несколько метров, чтобы вытащить Мару живой из почти неповрежденного дома. А к моменту моей последней с ней встречи тот мужчина, что так трогательно о ней заботился, как раз установил в ее новом домишке отопительную систему, которая включалась и выключалась автоматически в зависимости от температуры, – потому что однажды Мару уже нашли в постели почти замерзшей, а в другой раз она случайно сама себя подожгла разгоревшимся хворостом. Власти, ответственные за нее в Ашау, не раз предлагали ей переселиться в дом престарелых, но она неизменно отказывалась, и было решено, что она имеет право умереть там, где прожила всю жизнь. Мара лишь смутно припомнила двух мальчишек, то и дело взбиравшихся к ее дому с хафлингером семьдесят лет назад. Иногда в скверную

погоду мы с братом оставались и спали на сене там, наверху, а уходили совсем рано утром, потому что до школы нужно было еще вернуть лошадь и получить свои пятьдесят пфеннигов.

Из-за того, что на тропе к горному пастбищу часто попадались острые камни, невидимые под пучками травы, ноги у нас с братом были вечно разодраны. Как-то летом, когда накатила жажда, мы ворвались в стойло на альпийском лугу и брат двинулся напрямик к корове, которую хотел поскорому подоить. Но корова была молодая и лягнула его с такой силой, что он вылетел из стойла по воздуху. С того самого времени в Захранге я умею доить коров и сегодня нередко угадываю других людей, которые тоже это умеют, – таким же образом иногда можно распознать в человеке адвоката или мясника. Этот навык дойки пригодился мне спустя много лет – во время работы с астронавтами из экипажа космического шаттла. Толчком к работе послужило мое страстное увлечение исследовательской миссией на Юпитер, оказавшейся чрезвычайно сложной и встретившейся на пути со множеством трудностей. Аппарат «Галилео» был запущен в глубины космоса с шаттла «Атлантис» в 1989 году, после многих задержек и изменений в планах. Чтобы достичь нужной скорости, его нужно было сначала провести один раз мимо Венеры и потом дважды – мимо Земли: тогда гравитация двух планет создавала необходимую центробежную силу. Вся эта эпопея продолжалась четырнадцать лет, и

уже в самом конце миссии, в 2003 году, когда у зонда «Галилео» заканчивалось топливо, НАСА решило использовать остатки собственной энергии зонда, чтобы увести его с орбиты спутника Юпитера. В процессе схода зонда с орбиты планировалось измерить силу притяжения гигантской планеты. Чтобы не занести микроорганизмы с Земли на спутник Юпитера Европу, покрытую толстым слоем льда, под которым ученые не исключают наличие жидкого океана, а в нем — и микробной жизни, зонд «Галилео» решено было бросить в атмосферу Юпитера, в газах которой он превратится в сверхгорячую плазму. Перед гибелью зонда почти все ученые и инженеры, принимавшие участие в работе над проектом, собрались в Центре управления полетами в Пасадене, штат Калифорния. Я знал об этом мероприятии. И непременно хотел туда попасть, догадываясь наперед, что многие станут праздновать с шампанским в руках, а другие будут в глубокой печали. Но разрешения присутствовать мне не дали, и я тогда просто перелез через забор из рабицы, огораживавший территорию, но охранников на входе в Центр управления уже не преодолел. Один физик, которому я до сих пор благодарен, каким-то образом узнал меня, когда меня уже схватили, и позвонил в штаб-квартиру НАСА в Вашингтоне. Там, по чистой случайности, шло совещание высшего руководства, и к телефону был вызван глава агентства, поскольку я пообещал уложиться в шестьдесят секунд со своим сообщением. Мне повезло. Он видел некоторые из моих фильмов и распо-

рядился: «Впустите этого сумасшедшего вместе с камерой». Сейчас для меня самое памятное в той встрече – момент, когда почти все участники зарыдали, как только внезапно было объявлено, что именно в эту минуту произошла гибель «Галилео». Однако сигнал от зонда еще оставался устойчивым, и, как и было рассчитано, данные с него продолжали поступать в течение пятидесяти двух минут. Все это время сигналы от уже сгоревшего и расплавившегося зонда были в пути, пока не достигли Земли.

Это подтолкнуло меня к дальнейшим исследованиям. В одном архиве я нашел замечательную съемку на 16-миллиметровую киноплёнку, сделанную астронавтами во время работы на шаттле. Думаю, это единственная плёнка, отснятая в таком формате, причем катушки все еще были запечатаны в пластиковый пакет из копировальной лаборатории – материал был нетронутый. Конечно, во время запуска шаттла с зондом в 1989 году видеосъемка велась, да и до этого, наверное, были съемки в космосе на 8-миллиметровую плёнку, но именно в той команде был космонавт, который интересовался кино и обладал определенным талантом. Большая часть материала отснята им, хотя снимали и другие члены экипажа. Я специально упоминаю о нем, потому что ему удалось снять кадры исключительной красоты, которые глубоко меня взволновали. Он был летчиком-испытателем на всех типах самолетов ВВС США, а также служил капитаном атомной подводной лодки.

Я быстро понял, что эта съемка вместе с кадрами, снятыми подо льдом в Антарктике, составит основу моего научно-фантастического фильма «Далекая синяя высь» (2005). Более того, эти кадры словно бы сами складывались в историю, выраставшую из внутренней динамики отснятого. Участниками этой истории должны были стать космонавты из экипажа шаттла – теперь они были на шестнадцать лет старше, но, по моему сценарию, двигались по вселенной с такой скоростью, что на Земле за это время прошло 820 лет. Время искривилось. И они вернулись на обезлюдевшую планету.

Потребовалось несколько месяцев, чтобы собрать их всех на встречу в Космическом центре имени Линдона Джонсона, что в Хьюстоне. Меня ввели в помещение, где полукругом были расставлены стулья, на которых сидели космонавты, теперь уже постаревшие. Я знал, что все они – высококвалифицированные ученые: первая женщина – биохимик, вторая – врач, один из мужчин в числе самых выдающихся физиков плазмы в Штатах – действительно первоклассные профи. Я поздоровался, и сердце у меня ушло в пятки. Как убедить этих людей поучаствовать в чистой выдумке, сыграть в причудливом научно-фантастическом фильме? Я коротко рассказал им, откуда я родом, о баварских горах и в то же время изучал их лица. У одного из них, пилота Майкла Маккалли, были ясные, мужественные черты лица, как у героев ковбойских фильмов. Я сказал им, что я не какой-то

тип из киноиндустрии, а простой парень, которому в послевоенном детстве пришлось научиться доить коров. Сейчас я с запоздалым ужасом понимаю, как близок я был к провалу, но тогда я сказал еще, что, работая с актерами, с их лицами, я научился видеть дремлющие таланты, которыми люди обладают. Например, мне обычно удается узнать человека, который умеет доить коров. Я повернулся к Маккалли и сказал: «Сэр, я уверен, что вы умеете доить коров». Он одобрительно гаркнул, хлопнул себя по ляжкам и стал делать доящие движения кулаками. Да, Маккалли, выросший на ферме в Теннесси, и в самом деле это умел! Не могу и вообразить, в какую бездну стыда я провалился бы, если бы не угадал. Однако недоверие удалось преодолеть, и все космонавты, мелькавшие на той 16-миллиметровой пленке, сыграли в моем фильме самих себя на 820 лет старше...

В Захранге мы, дети, научились ловить форель голыми руками. При появлении людей форель прячется под камни или нависающие края берега, поросшие травой, и там замирает. Если вы осторожно нащупаете рыбу двумя руками одновременно, а затем резко схватите, вам действительно удастся ее поймать. Часто, чувствуя голод, мы ловили одну-две рыбы утром по пути в школу вдоль Принбаха, засовывали их на время уроков в неглубокую закопанную в землю емкость и на обратном пути забирали с собой. Потом мама жарила их на сковороде. Помню, как они, только что обезглавленные, извивались во время жарки. Некоторые продолжали прыгать

и на сковороде – я вижу это ясно, как сейчас. Наша жизнь в основном проходила на свежем воздухе, мама каждый день без лишних слов выставляла нас на улицу по меньшей мере на четыре часа, даже в самую холодную зиму. Когда темно-ло, мы уже мерзли в мокрой одежде перед дверью, с головы до ног в снегу. Ровно в пять дверь открывалась, и мама без церемоний веником сметала с нас снег, прежде чем пустить в дом. Она считала, что детям полезно бывать на улице, и мы прекрасно проводили время – еще и потому, что в деревне тогда почти ни у кого не было отцов, как и у нас самих, и везде царила анархия в лучшем смысле слова. И сам я был несказанно рад, что у нас дома нет фельдфебеля, который указывал бы нам, как себя вести.

Мы учились всему без инструкций.

Помню мертвого теленка из соседнего Штурмхофа. Он лежал в снегу на опушке леса. Шесть лисиц, а то и больше, рвали тушу, а когда я подошел, разбежались. Пока брат обходил тушу, еще одна лисица вдруг выскочила из разодранного брюха, припала задом к земле и, не выпрямляясь, отпрыгнула прочь. Застигнутые врасплох, лисы бегут, припадая к земле. Много позже, в 1982 году, я шел однажды по лесной тропе, как всегда вдоль границы Германии, и вдруг почувствовал лисий запах – откуда-то спереди, оттуда дул ветер, – а за первым же крутым поворотом довольно близко увидел лисицу, которая, ничего не подозревая, тихонько трусила вперед. Двигаясь очень тихо, я почти догнал ее, и

тут она обернулась, мгновенно присев, опустила зад очень низко, – казалось, прислушивается к тому, застучит ли вновь ее замершее было сердце, – и только после этого побежала, все еще сутулясь.

Осторожность следовало проявлять только осенью, когда у оленей гон. Однажды разъяренный олень напал на велосипедиста; тот хотел укрыться под небольшим мостом, но ошалевшее животное последовало за ним. И только пустые жестяные банки, которые там валялись и неплохо гремели, помогли его отогнать. Бывали и загадочные встречи. Однажды среди бела дня, брат тому свидетель, весь склон холма за нашей хижинкой вдруг заполнился ласками, и все как одна мчались к ручью. Не думаю, что мне это приснилось, хотя такое объяснение никогда нельзя исключать. В другое время мы видели одну ласку за раз, иногда – двух, но в тот раз их было, наверное, несколько десятков. Подобные массовые исходы известны у леммингов, но что ласки могут вести себя так же, я никогда не слышал. Некоторые из них тогда попрятались между бревнами в куче дров, я пошел их искать, но не нашел ни одной. Все окружающее было исполнено тайны. На другом берегу ручья, по дороге в деревню, стоял высокий еловый лес, заколдованный лес, в который мы заходить не решались. В узком ущелье за домом был водопад: одна ступенька и под ней небольшое озерцо, всегда заполненное прозрачной ледяной водой. Иногда в это озерцо валялись вековые деревья, придавая пейзажу доисторический вид. Там я

увидел, как Штурм Зепп купается гольшом и трет тело платяной щеткой. Он вовсе не был похож на человека – скорее на дуб-великан с развевающимися по ветру плетями ветвей.

3. Мифические герои

Штурм Зепп – один из мифических персонажей нашего детства. Он работал на ферме в соседнем Штурмхофе. С возрастом его согнуло от поясницы едва ли не под прямым углом. Но нам он казался гигантом, словно вышел из туманной древности еще до начала времен. У него была окладистая седая борода, изо рта обычно свисала большая трубка. Какого он был бы роста, не будь так сильно согнут, мы могли догадываться по его велосипеду. Седло было установлено над рамой так высоко, что только настоящий богатырь мог дотянуться оттуда ногами до педалей. Штурм Зепп был немым. Никто не слышал, чтобы он разговаривал. По воскресеньям в таверне перед ним, не дожидаясь заказа, ставили его пиво. Мы, дети, дразнили его, и по дороге в школу, завидев, как он, согнувшись в три погибели, косит луг по ту сторону забора, напоминая какое-то древнее существо, кричали «Привет, Зепп!» и повторяли снова и снова в надежде вытянуть из него хоть слово в ответ. Однажды, когда казалось, что он спокойно косит, он вдруг цапнул кончиком косы Бригитту из Бергерхофа, которая оказалась к забору ближе всех, и попал куда-то в середину тела. «Ха, вот тебе!» – вскричал тогда он, и это было единственное, что он сказал за последние несколько десятков лет. К счастью, кончик косы пронзил лишь жестяную миску с обедом. С тех пор мы держались

от него подальше. Нам удалось разузнать, как Штурма Зеппа согнуло в три погибели. Зимой он приволакивал с горы бревна. Однажды, когда лошадь рухнула от изнеможения, он взвалил огромное бревно себе на плечи и с тех пор навсегда остался согнутым пополам.

Похожих загадок и тайн было множество. Не знаю, верно ли это мое воспоминание, но я отчетливо вижу мужчину, который стоит у ручья за нашим домом, уже в темноте. Чтобы согреться, он развел большой костер. Его лицо от этого кажется красным. Он смотрит в огонь. Кто-то говорит, что это дезертир и что утром он убежит в горы. Могу ли я помнить такое, не был ли я тогда слишком мал для того, чтобы помнить все самому? Еще там была ведьма, которая однажды вдруг подскочила к нам и, схватив меня, побежала, но мама догнала ее и вырвала меня из ее когтей, и я теперь точно не буду писаться в штаны, а буду вовремя ходить на горшок. У меня было пигментное пятнышко на правой руке, и я несколько не сомневался, что это ведьма меня тогда укусила. Помню одну ночь, которая уж точно была на самом деле: мама вытащила тогда нас с братом Тилем из постелей, завернула в одеяла, потому что на улице было холодно, и поднялась вместе с нами немного по склону вверх, откуда открывался хороший вид. «Вы должны это видеть, дети, – сказала она, – горит Розенхайм». В конце войны союзные бомбардировщики спалили Розенхайм дотла зажигательными снарядами – они возвращались через Альпы к своим военным аэродро-

мам, из-за плохой погоды так и не сумев точно распознать свои цели. Говорят, что они сбросили бомбы на вражеский немецкий город будто бы просто для того, чтобы избавиться от груза. Картина, которую мы видели в детстве, до сих пор у меня перед глазами. В самом конце долины, на севере, все небо светилось красным, оранжевым и желтым, и это не были отблески, как от огня, медленно пульсировал светом весь видимый небосвод – это было зарево от пожара в Розенхайме, в сорока километрах от нас. Словно гигантский тлеющий уголь, город вовлекал все ночное небо в пульсацию гибели. Название «Розенхайм» ничего мне тогда не говорило, но с того момента я осознал, что снаружи, за границами нашего мира, за пределами долины, есть другой мир, опасный и жуткий. Не то чтобы я испугался этого мира – скорее он пробудил во мне любопытство.

Одна загадка из тех времен до сих пор не дает мне покоя: однажды над горой за нашим домом долго кружил самолет, словно что-то искал. Потом, мы это хорошо разглядели, что-то сбросил – с виду механическое, блестящее, будто из светлого металла, например алюминия. Теперь я уже не могу с полной уверенностью сказать, болталось оно на парашюте или на чем-то вроде воздушного шара. За ним развевался хвост для маркировки, который, казалось, перемещается от одной вершины дерева к другой. Люди в долине тоже видели это, но поскольку уже смеркалось, поисковая группа из нескольких мужчин отправилась туда только на следую-

щее утро. Их не было целый день, и вернулись они поздно вечером, уже в темноте. Нам, детям, было ужасно интересно, но никто не хотел ничего рассказывать. Похоже, нашли что-то таинственное, о чем нам нельзя было знать. Что-нибудь военное? А то и вообще нечто нездешнее, привет из какого-нибудь чужого, далекого мира?

Но даже на идиллических просторах Захранга нас подстерегали опасности. И через несколько лет после окончания войны мы находили оружие, брошенное или спрятанное бежавшими немецкими солдатами. Когда Германию, уже окруженную со всех сторон, стали все крепче сжимать в кольцо наступавшие союзные войска, в конце концов осталось лишь несколько крошечных не занятых ими анклавов: один, я думаю, в Тюрингии, другой – на севере, около Фленсбурга, и, наверное, самый последний – Захранг вместе с Куфштайном по ту сторону австрийской границы и горами Кайзергебирге неподалеку. К нам забредали последние отставшие от войска солдаты, но приходили и группы «оборотней», которые после войны хотели вести партизанскую деятельность, сбрасывали тут форму и обменивали ее на гражданскую одежду. Оружие часто прятали в сене или внутри поленниц. Мать рассказывала, что в Бергерхофе как-то случился большой переполох – солдаты американских оккупационных сил нашли оружие у фермера в амбаре. Ему пригрозили расстрелом, но на помощь пришла моя мама, говорившая по-английски. Он действительно знать не знал о тайнике. Я и сам

однажды нашел под кучей дров пистолет-пулемет и теперь уже не могу сказать наверняка, стрелял из него на самом деле или нет, но в воображении точно не раз отправлялся с ним на охоту. Однажды я видел, как дорожный рабочий из такого же оружия палил по стае ворон на пашне и одну прикончил. Убитых птиц рабочие подбирали и варили из них что-то вроде супа в большой кастрюле. Поскольку я был голоден, я подсел к ним и впервые в жизни увидел несколько кружков жира на поверхности варева – это была сенсация. Но супа мне так и не дали. Потом мы, дети, возились и с карбидом, делали собственную взрывчатку. Лучше всего взрывы удавались в бетонной трубе, проложенной под проселочной дорогой. Сами мы стояли на дороге прямо над трубой и испытали странное чувство, когда взрыв слегка нас приподнял. Я смутно припоминаю, как мама созвала нас всех, включая наших друзей, и у нас на глазах выстрелила из пистолета в толстое буковое полено, так что щепки вылетели с другой его стороны. Это было так впечатляюще, что уже не надо было вслух ничего запрещать. Мы все поняли. С этого момента стало ясно, что никогда в жизни мы не направим ни на кого оружие, хоть заряженное, хоть нет. Пусть даже оно было бы игрушечное.

Я принадлежу к поколению, место которого в истории по-своему уникально. И до нас люди переживали великие повороты – например, переход от замкнутого европейского мира к миру после открытия Америки или от процветания ре-

месел к индустриальному веку, – но всякий раз в жизни отдельного человека был один-единственный грандиозный переворот. Мне же, хотя я сам не принадлежал к крестьянской культуре, довелось наблюдать, как вручную убирают поля, косят траву, лошади тянут возы с сеном – их нагружали большими вилами – и свозят на сеновалы. Я еще застал людей, работавших как крепостные в далекие времена феодального Средневековья. И потом я впервые увидел механическую сеноворошилку, которую везла лошадь, но которая сама подбрасывала сено вилами, установленными параллельно друг другу, увидел первый трактор, а позднее – с огромным удивлением – и первый доильный аппарат. Я наблюдал переход к промышленному сельскому хозяйству. А еще много позже я видел обширные угодья на Среднем Западе Америки, где огромные комбайны, двигаясь строем, убирали поля шириной в несколько миль. Этих чудовищ никто не тревожил, хотя каждый зерноуборочный комбайн по-прежнему «пилотировался» человеком. Все они были объединены в единую цифровую сеть, в каждой кабине было несколько компьютерных экранов, а управление осуществлялось автоматически через GPS, что делало возможным математическое совершенство линий. Если бы человек сам крутил руль трактора, траектория машины стала бы не совсем прямой, и в результате все трактора, шедшие по полю, выписывали бы кривые. Используемые семена подверглись генетической обработке. Наконец, несколько лет тому назад я увидел первое

полностью роботизированное хозяйство, где люди не задействованы вообще: роботы сами высеивают семена в теплицах, поливают, регулируют освещение и температуру, собирают и упаковывают готовый продукт для отправки в супермаркеты.

И мне же выпало пережить огромные потрясения в области коммуникации, начиная с архаических стадий ее развития. Помню, я лично знал служащего в мэрии Вюстенрота в Швабии, в нескольких часах езды от Мюнхена и Захранга, где мы с братом целый год прожили у отца. В Вюстенроте был городской глашатай, или герольд. Мне кажется, в немецком языке для этой должности теперь вообще нет слова, хотя в английском все еще используется выражение *town crier*. На моих глазах он прошел тогда через всю деревню по дороге в Райтельберг и несколько раз звонил в колокольчик, чтобы привлечь внимание. Через каждые четыре дома он останавливался и кричал: «Довожу до вашего сведения!», а затем громко провозглашал распоряжения властей и назначенные ими сроки. С ранних лет я знал, что такое газета и радио, хотя у нас бывали перебои с электричеством. В то же время я долго не видел кино, вообще не имел о нем представления. Я даже не знал, что оно существует, пока однажды в единственном классе деревенской школы Захранга не появился человек с передвижным проектором, который показал нам два фильма, тогда меня, кстати, совершенно не впечатливших. Телефона в нашей деревне тоже не было, а первый в

жизни звонок я сделал в семнадцать лет. Телевизоры вошли в наш быт только в шестидесятые, и мы впервые посмотрели телепередачу только в Мюнхене, в гостях у обитавшего этажом выше семейства домоправителя – не помню, что это было, то ли выпуск новостей, то ли трансляция футбольного матча. И я же стал свидетелем начала цифровой эры, интернета, контента, создаваемого не людьми, а алгоритмами. Я получал электронные письма, написанные роботами. Социальные сети коренным образом изменили человеческое общение, пусть даже я сам ими не пользуюсь. Видеоигры, видеонаблюдение, искусственный интеллект – прежде резкие изменения никогда не шли такой сплошной чередой, и я не могу представить, что будущим поколениям доведется пережить столь же много фундаментальных потрясений на протяжении одной жизни.

Наше детство словно бы проходило в древние времена. У нас не было проточной воды, и приходилось ходить с ведром к колодцу на улице, который зимой в сильные морозы часто замерзал. К дому был пристроен деревенский туалет – домик, внутри которого была обыкновенная деревянная доска с дырой в ней. Из-за того, что щели в досках пристройки были плохо заделаны, зимой внутри домика нередко наметало сугробы, и тогда мама просто ставила ведро в прихожей, а в сильные морозы все в этом ведре смерзалось в сплошной ком. Отапливалась у нас вообще только кухня, где была небольшая дровяная печка. В соседней крошечной

комнатке, всего метра два в ширину, где мы с братом спали на двухъярусной кровати, как и в спальне матери, никакого отопления не было. Не было у нас и нормальных матрасов. Мама не могла их купить и придумала им замену. Мешки из грубой ткани она наполняла сушеным папоротником, который тоже заготавливала сама. А у папоротника, срезанного косой, иногда под углом, попадались очень острые концы. В высушенном виде эти стебли становились твердыми и острыми, как заточенные карандаши, и мы просыпались от боли всякий раз, когда ворочались во сне. К тому же сушеный папоротник быстро сбивался в комки, и даже сильное встряхивание не спасало матрас от волн и горбов, которые были жесткими, как бетон. На этих кочках и ямах я и проспал все детство, ни разу не уснув на ровной поверхности. Зимой по ночам иногда становилось так холодно, что одеяла, которые мы натягивали на голову, покрывались коркой льда на том краю, где мы оставляли отверстие, чтобы дышать. Спальня была так мала, что между двухъярусной кроватью и стеной помещался только один стул. Наверху, почти под потолком, была полка, где хранились яблоки. У нас в комнате вечно стоял этот яблочный дух. Зимой яблоки сморщивались и замерзали, но после оттаивания их все еще можно было есть.

Доктора у нас почти не бывали, но мою маму все в деревне принимали за врача, поскольку у нее была докторская степень, хотя она не раз пыталась разьяснить это недоразумение. Степень она получила как биолог. Ее научным руково-

дителем был будущий нобелиат Карл фон Фриш, а диссертацию она писала о слухе у рыб. Для этого она проигрывала на блокфлейте разные мелодии перед лабораторным аквариумом и обучала рыб по-разному реагировать на них: либо уплывать, либо с любопытством приближаться к поверхности, потому что после определенной мелодии их ожидала награда – корм. Но в экстренных случаях, однако, в деревне всегда бежали за ней. Как-то соседский мальчик лет четырех потянулся за большой кастрюлей, стоявшей на плите, хотел ее снять, но кастрюля накренилась, и кипяток вылился прямо на него, ошпарив от подбородка вниз – по шее и груди вплоть до самых бедер. Ожоги были страшные, маму вызвали, когда у мальчика перестало нормально биться сердце. Она была не из робких и ввела ему дозу адреналина через грудину прямо в сердечную мышцу. Он выжил. Годы спустя как-то раз прямо посреди урока в школе он даже снял рубашку, чтобы показать мне покрытое шрамами тело. Детская смертность была высокой. В Бергерхофе молодой фермер Бени и его жена Розель теряли одного ребенка за другим сразу после рождения. Новорожденные умирали из-за несовместимости крови, которую теперь умеют исправлять немедленным общим переливанием. В конце концов они удочерили девочку по имени Бригитта, дочь оккупанта⁴.

⁴ Дети оккупации (Besatzungskinder) – дети, родившиеся у немцев от солдат оккупационных армий между 1945 и 1955 годами; по новейшим оценкам, их было не менее 400 тысяч. В фильме Билли Уайлдера «Зарубежный роман» (1948), действие которого происходит в разрушенном послевоенном Берлине, в центре

Она входила в избранный круг детей Бергерхофа. Помню, как Розель, опять беременная, родила в Ашау еще одного ребенка и ее привезли домой на машине, а я все гадал, где же ребенок. С фермы в слезах выбежала Бригитта и помчалась к колодцу, чтобы умыться холодной водой. Так я узнал, что еще один новорожденный умер, уже восьмой по счету. После этого один, правда, все-таки выжил – это был Бенно, с которым я до сих пор поддерживаю связь. Бригитта потом работала в Ашау официанткой в каком-то кафе, но умерла от рака груди еще довольно молодой.

Мы с Тилем росли в большой бедности, хотя и совершенно не задумывались об этом, – разве что в первые два-три года после войны. Нам тогда все время хотелось есть, а мама не могла раздобыть достаточно еды. Ели салаты из листьев одуванчика, мама делала сироп из подорожника и свежих побегов сосны. Первый больше походил на лекарство от кашля и простуды, второй заменял сахар. Один-единственный раз в неделю мы брали у пекаря в деревне половину батона – он полагался нам по талону на питание. Мама ножом отмечала на нем деления на каждый день, с понедельника по воскресенье, и получалось, что на каждого приходится по одному ломтю хлеба в день. Но когда голод одолевал нас по-настоящему, мы получали завтрашние кусочки вперед срока – ведь мама всегда надеялась найти для нас что-нибудь еще, – и чаще всего хлеб просто заканчивался к пятнице, а нас ожидали

особенно тяжкие суббота и воскресенье. Мне навсегда врезался в память один эпизод: как-то раз мы с братом вцепились в мамину юбку и оба ныли от голода. Она отшвырнула нас, резко отвернулась и обернулась вновь, а ее лицо выражало гнев и отчаяние, каких я не видел ни до, ни после. А затем очень спокойно, полностью держа себя в руках, она сказала: «Мальчики, если бы я могла срезать вам мяса с собственных ребер, я бы срезала – но не могу». В тот момент мы научились никогда не ныть. Культуру жалости к себе я на дух не переношу.

Бедность была повсюду и совсем не казалась нам странной, за исключением отдельных редких моментов. В деревенской школе, в общем помещении для первых четырех классов, где все учились одновременно, были дети, нуждавшиеся гораздо сильнее нас, – с отдаленных хуторов, расположенных на склонах выше долины. Один из них, Луи Гауцен, вечно опаздывал. Думаю, каждый день еще до рассвета ему приходилось работать дома в конюшнях, и потому он всегда задерживался. Зимой он спускался с горы на санках по крутому ущелью и появлялся в классе весь в снегу, с головы до ног, когда занятия давно уже начались. Не здороваясь и волоча за собой заиндевевшие санки, он проходил мимо фройляйн Хупфауэр, нашей учительницы, и каждый раз объяснялся одинаково: «Извините, меня выбросило на повороте». Лица его я уже не помню, но помню, как однажды в начале лета, когда Луи был все в той же куртке, от которой несло

конюшней, учительница велела ему снять ее, потому что уже тепло, а Луи сделал вид, что ничего не слышал. Он проигнорировал и все повторные, уже раздраженные просьбы учительницы и в итоге схлопотал указкой по рукам. Скажу сразу, что фройляйн Хупфауэр была замечательной женщиной. Даже ведя уроки по четырем разным предметам, она сумела передать нам свои знания и энтузиазм, любознательность и уверенность в себе. А указка тогда была частью образовательного инвентаря – никто не возмущался. В наказание за плохое поведение приходилось вставать на колени перед кафедрой, а за действительно серьезный проступок – коленями на полено, но мы не воспринимали это как что-то из ряда вон. Даже после этого Луи по-прежнему не хотел снимать куртку, так что все в классе, а нас было, наверное, около двадцати шести мальчиков и девочек в возрасте от шести до десяти лет, уставились на него. От этого его горе сделалось еще горше, и он принялся беззвучно рыдать. Этот немой плач до сих пор заставляет мое сердце сжиматься. Наконец Луи стянул куртку, и под ней оказалась его единственная рубашка. Она была застирана до дыр и изодрана в лохмотья, которые свисали с плеч. Тут учительница и сама заревела и помогла ему снова надеть куртку через голову.

Семьдесят лет спустя я снова встретил фройляйн Хупфауэр на встрече выпускников школы. Теперь у нее была другая фамилия, потому что за это время она вышла замуж и только недавно овдовела. Но и в свои девяносто с чем-то

лет она осталась такой же сердечной и восторженной, как раньше. Когда я был ребенком, она верила в меня, говорила, что меня ожидает какая-то особенная жизнь; мама тоже помнила об этом и подтверждала не раз, когда я давно уже стал взрослым. Хотя в детстве ничто не указывало на мою необычность, разве что в отрицательном смысле. Я был тихим, довольно замкнутым ребенком, но был подвержен внезапным приступам гнева и в каком-то смысле опасен для своего окружения. Но мог я и подолгу размышлять, пытаюсь разобраться, например, почему 6 умножить на 5 дает тот же результат, что и 5 умножить на 6. Тем более почему это вообще всегда так: 11 умножить на 14 дает столько же, сколько 14 умножить на 11. Почему? В числах был спрятан закон, который я долго не мог понять, пока не представил себе, как выкладываю прямоугольник в шесть рядов по пять камней в каждом, и если потом его развернуть на девяносто градусов, получится 5 рядов по 6 камней: принцип становится очевиден. Меня и сегодня занимают вопросы чистой теории чисел – например, гипотеза Римана о распределении простых чисел. Я ничего в этом не смыслю, ровным счетом ничегошеньки, потому что не владею математическим инструментарием, но считаю, что это самый важный из всех вопросов в математике, пока остающихся без ответа. Несколько лет назад я познакомился с, возможно, величайшим из ныне живущих математиков – Роджером Пенроузом и спросил его, как он подходит к математическим задачам – с помощью аб-

страктной алгебры или через визуализацию. Так вот, Пенроуз сначала всегда пытается представить всякую математическую проблему визуально.

Но вернемся к моему детству. Было во мне что-то темное. Хотя сам я не помню, но, похоже, я дрался с камнем в руке, и не один раз, так что мама за меня волновалась. Я был замкнут, спокоен, но что-то бушевало внутри, что-то во мне вызывало беспокойство. Понадобилась катастрофа в семье, чтобы я обуздал свою ярость. Мне было, должно быть, тринадцать или четырнадцать лет, мы уже жили в Мюнхене, когда я подрался со старшим братом Тилем. Мы всегда были и до сих пор остаемся братьями, без всяких «но», однако иногда мы отчаянно ссорились или жестоко дрались. До поры до времени это казалось естественным и приемлемым. Но в той яростной ссоре, которая, как я смутно припоминаю, произошла из-за золотистого хомячка, я впал в бешенство и ударил брата ножом. Удар пришелся в запястье, он пробовал отмахнуться, и вторым тычком я попал ему в бедро. Комната была залита кровью. Мой ужас перед самим собой потряс меня до глубины души. В мгновение ока я осознал, что должен измениться сейчас же, немедленно, а это означало строгую дисциплину. Это происшествие было слишком чудовищным. Я вызвал величайшее потрясение, какое только можно представить, и оно могло разрушить семью. Но, поскольку раны брата как будто не представляли особой угрозы, на семейном совете мы решили не везти его в больницу, что наверняка

привело бы к полицейскому расследованию. Мы сами перевязали его, вытерли кровь с пола и еще долго были в неопи-сваем ужасе. От этой истории у меня до сих пор все внутри переворачивается. Из-за того, что колото-резаные раны так и не были стянуты и зашиты, шрамы у Тиля хорошо видны по сей день. А я с тех пор взял себя в руки, включил абсолют-ную самодисциплину. Голая дисциплина и сейчас составляет значительную часть моей личности. Но в отношениях между мной и Тилем до сих пор в ходу такая грубость, резкость, нередко принимающая характер шутки, и эта резкая манера общаться временами делает наши отношения непонятными для других. Несколько лет назад наша семья воссоединилась на испанском побережье, где тогда жил мой брат. По его при-глашению мы провели восхитительный вечер в рыбном ре-сторане, и Тиль, сидевший рядом со мной, приобнял меня, пока я просматривал меню. Вдруг откуда-то пошел густой дым, я ощутил легкую боль в спине и внезапно сообразил, что он подпалил зажигалкой мою рубашку. Я быстро сорвал ее с себя, все прочие пришли в ужас, но мы с братом гром-ко расхохотались над шуткой, которую не мог понять никто, кроме нас. Кто-то одолжил мне футболку на вечер, а покрас-нение на спине охладили просекко.

4. Летать

С самого раннего детства мне хотелось летать. Не на самолете или вроде того, а самому по себе, без всякой техники. Нас рано поставили на лыжи, но в долине Захранга не было достойных спусков. Поэтому мы стали прыгать с трамплинов, строили их сами и совершали памятные аварийные приземления. Однажды брат приземлился, воткнувшись в снег носками лыж так глубоко, что они намертво застряли, а с него слетели оба ботинка. Дальше по склону вниз он катился уже без лыж и без ботинок. Соседский мальчик, Райнер, пошел как-то вместе со мной прыгать с трамплина в стороне от деревни. Тогда этот трамплин казался мне здоровенным, но, когда я смотрю на него сегодня, вижу, что он ерундовый, просто крошечный. Мы мечтали когда-нибудь стать чемпионами мира и одолжили настоящие лыжи для прыжков с трамплина. Но эти лыжи были 2,20 метра в длину, сильно выше нас, широкие, с пятью бороздками с нижней стороны, чтобы на разгоне лыжи было легче держать прямо. У этого трамплина были естественные зона разбега и стол отрыва: никаких искусственных элементов. Наверху была огромная ель, возле которой приходилось сходить с лыжни, чтобы ее обогнуть и затем снова впрыгнуть в обледенелую трассу на слишком больших для нас прыжковых лыжах. Однажды для моего друга это закончилось ужасно. Я стоял ниже стар-

товой площадки на склоне и видел, как он запрыгивает на трассу. Ему не удалось правильно поставить лыжи, а разбег было уже не остановить. До сих пор вижу, будто это было вчера, как он всю дорогу вниз пытается попасть в лыжню. Так он и мчался с трамплина боком, прямо на лес, головой вперед. Тут и там по дороге попадались валуны. Звук столкновения до сих пор отзывается эхом у меня в душе. Я нашел его с тяжелыми травмами головы, настолько ужасными, что не могу их описать. Я был уверен, что он мертв или вот-вот умрет. Он хотел что-то сказать, но не мог: у него были выбиты коренные зубы. Минуты, пока он по милости провидения не потерял сознание, показались мне мучительно долгими. Я оказался перед дилеммой: бежать в деревню за помощью, а значит, оставить его тут одного, или остаться с ним, хотя я ничем не мог ему помочь. В конце концов я решил нести его вниз, хотя он был тяжелее меня. Спуск вниз по склону был очень крутой. Мне (вернее, ему) повезло – потому что мимо как раз проезжал крестьянин с лошадью и прицепленными к ней санями. Друга доставили в больницу, он пролежал в коме три недели, а может, и поменьше, но затем очнулся и пошел на поправку. Последствий почти не осталось, хотя большую часть задних зубов пришлось заменить серебряными. Кроме того, он всю жизнь потом страдал от головных болей, но только при резкой перемене погоды. Спустя несколько десятилетий, на протяжении которых мы полностью потеряли друг друга из виду, я получил о нем причудливое известие.

Во время спортивного шоу на канале *ZDF*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.